



Н. Л. ЕЛИСЕЕВ

Бунин и Достоевский

Бунт Бунина против Достоевского и достоевщины был сродни футуристическому бунту против «литературы идей», «литературы сантиментов». Это может показаться парадоксом, но Бунин был охвачен тем же пафосом очищения литературы от несвойственных ей функций — социологических, политических, философских, что и футуристы. Отсюда приверженность Бунина к яркой изобразительности и отвращение от дилетантского философствования, столь свойственного Достоевскому. Впрочем, я не буду останавливаться на причинах неприязни Бунина к Достоевскому. Это тема большой и серьезной работы. Моя задача скромнее — показать следы такой неприязни в текстах Бунина; не в высказываниях, но — в текстах. Высказывания Бунина — декларации литературной войны, сами боевые действия — в текстах. Я не буду говорить о «Петлистых ушах» и «Деле корнете Елагина». Здесь полемика слишком очевидна. О ней и писали.

Удивительно, что до сих пор никто не заметил полемической антидостоевской направленности жестокого шокирующего зачина «Деревни» — «Прадеда Красовых, прозванного на дворе Цыганом, затравил борзыми барин Дурново. Цыган отбил у него, у своего господина, любовницу. Дурново приказал вывести Цыгана в поле, за Дурновку, и посадить на бугре. Сам же выехал со сворой и крикнул: “Ату его!” Цыган, сидевший в оцепенении, кинулся бежать. *А бегать от борзых не следует*» *. Отсылка к хрестоматийному эпизоду из «Братьев Карамазовых» — очевидна. «Выводят мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит

* Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1965. Т. 3. С. 12. Курсив мой. — Н. Е. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

раздеть, ребеночка раздевают всего донага, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть... “Гони его!” — командует генерал, “беги, беги!” — кричат ему псары, *мальчик бежит*. “Ату его!” — вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки!..» *. Бунин словно бы спрашивает у создателя текста про «слезинку ребенка»: «Ну для чего Вы нам рассказываете сказки про садистов-помещиков и несчастных угнетенных крестьян? Вы ведь не знаете этого быта, подлинных невыдуманных отношений между помещиками и крестьянами». Историю, рассказанную Достоевским, Бунин преобразовывает, переделывает. Вместо несчастного слабого мальчика — наглый сильный любовник, удачливый соперник; вместо жестокой казни не менее жестокая, но... игра. Нечто вроде — «русской рулетки». Насмешливая фраза «А бегать от борзых не следует» — будто издевательское резюме к сентиментальному рассказу Достоевского («мальчик бежит» — «А бегать от борзых не следует»). Если бы Цыган не бросился бежать, в борзых не проснулся бы охотничий инстинкт, облаяли бы, покусали, но не загрызли бы насмерть. Таков «след Достоевского» в самом знаменитом, можно сказать, знаковом произведении Бунина дооктябрьского периода. Не менее язвительна полемика с Достоевским у Бунина в «Суходоле».

Основной анти-достоевский пафос Бунина таков — Достоевский все выдумывает, не было таких разоряющихся дворянских семей, таких старцев, таких монахов, какими их описывает Достоевский; он не знает того мира, о котором пишет многостраничные романы. Захватывающие, остросюжетные. Вот очень важная для Достоевского сцена: скандал в монастыре, который учиняет Федор Павлович Карамазов, вернее, прелюдия к скандалу. Франкофил, циник и вольнодумец, Карамазов-старший спрашивает православных монахов о покровителе Парижа, Святом Денисе, не называя его. Разумеется, православные монахи не знают такого святого, чем доставляют большое и искреннее удовольствие Федору Павловичу: «“Вот что спрошу: справедливо ли отец великий, то, что в Четьи-Минеи повествуется где-то о каком-то святом чудотворце, которого мучили за веру, и когда отрубили ему под конец голову, то он встал, поднял свою голову и “любезно ее лобызаша”, и долго шел, неся ее в руках, и “любезно ее лобызаша”. Справедливо это или нет, отцы честные?” “Нет, несправедливо”, — сказал старец. “Ничего подобного во всех

* Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 221. Курсив мой. — Н. Е.

Четых-Миней не существует. Про какого это Святого, Вы говорите, так написано?” — спросил *иеромонах, отец-библиотекарь*. “Сам не знаю про какого” * . Бунин не может не возмущать то, что в романе у Достоевского ерник и атеист лучше знает Четых-Миней, чем «отец-библиотекарь» и «старец». Дело простое — сам Федор Михайлович Достоевский, где надо и не надо клявшийся православием, не шибко разбирался в этих самых «ежемесячных чтениях». Вот бунинское возражение «отцу-библиотекарю»: «В углу *лакейской* чернел большой образ Меркурия Смоленского, того, чьи железные сандалии и шлем хранятся на более в древнем соборе Смоленска. Мы слышали: был Меркурий муж знатный, призванный к спасению от татар Смоленского края гласом иконы Божьей Матери Одигитрии — Путеводительницы. Разбив татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою голову в руки, пришел он к городским воротам, чтобы поведать бывшее... И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого человека, державшего в одной руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой икону Путеводительницы» (III, 139; курсив мой. — *Н. Е.*). Возражение Достоевскому едва ли не брезгливо: что это за «иеромонах, библиотекарь», что это за «старец», которые не знают того, что известно даже *лакеям*? Не даром ведь образ безглавого Меркурия Смоленского Бунин помещает *в лакейской*. Разумеется, Бунин и не подозревает, что Достоевский имел в виду совсем другого святого. Он не думает о Сен-Дени, поскольку прекрасно знает легенду о святом Меркурии Смоленском и возмущен тем, что Достоевский берется описывать мир, известный ему только понаслышке. Можно было бы счесть простым совпадением упоминания о безглавом святом в «Братьях Карамазовых» и «Суходеле», если бы не другие весьма и весьма значимые совпадения.

Я имею в виду убийство слугой, лакеем своего барина, убийство незаконнорожденным сыном своего отца. В «Братьях Карамазовых» это убийство Смердяковым Федора Павловича; в «Суходеле» — убийство Герваськой Петра Кирилловича. Здесь полемика настолько яростная, что — вот парадокс — она почти не замечается не только читателями, но и исследователями.

Философствующий лакей Смердяков заменен лакеем «действующим», «древним арийцем», «парсом из Суходела» Герваськой. Бунин тем охотнее подчеркивает «достоевское» в характере Герваськи, что это «достоевское» как бы переворачивается, подчеркивается. Бунин словно бы спешит сообщить читателю — До-

* Там же. С. 42. Курсив мой. — *Н. Е.*

стоевский слышит звон, да не знает, где он: «...к Петру Петровичу Герваська сам пришел: стал на порог и, по своей манере, развязно осев на свои несоразмерно с туловищем длинные ноги в широчайших шароварах, углом выставив левое колено, попросил, чтобы его выпороли...» (III, 160). Лакей, который просит у барина, чтобы его выпороли, — вполне «достоевская» ситуация. Но только разрешается она не по-достоевски: «“Очень я грубиян и горячий, сударь”, — сказал он безразлично, играя черными глазами. И Петр Петрович, почувствовав в слове “горячий” намек, струсил: “Успеется еще, голубчик, успеется...”» (III, 160).

Бунин тщательно подчеркивает специально «смердяковское» в Герваське. Смердяков — умелый гитарист. Герваська — балалаечник и жалеечник. Смердяков — великолепный лакей, презирающий пьяных и бестолковых бар. Герваська — такой же ловкий, такой же знающий себе цену лакей: «“Смотри не напейся”, — рассеянно, волнуясь из-за предводителя, сказал Герваське Петр Петрович. “С отроду не пил, — как равному кинул ему Герваська. — Не антересно”... Он служил, как никогда. Он вполне оправдывал слова Петра Петровича, вслух говорившего гостям: “До чего дерзок этот дылда, вы и представить себе не можете! Но положительно гений! Золотые руки!”» (III, 161). Сравните «Кофе знатный, смердяковский. На кофе, да на кулебяки Смердяков у меня артист, да на уху еще, правда. Когда-нибудь на уху приходи, заранее дай знать» *. Бунин тщательно подчеркивает «достоевские» отношения между лакеем и его сводными братьями, его господами, Петром Петровичем и Аркадием Петровичем. «Odi et amo» — «люблю и ненавижу» — вполне «достоевская» ситуация: «Любил его, врага своего, Аркадь Петрович истинно как брата, а он, чем дальше, тем все злей измывался над ним. Бывалыча, скажут: “Ну, давай, Гервасий, на балалайках! Выучи ты меня, за ради бога, *‘Закатилось солнце красное за лес...’*” А Герваська посмотрит на них, пустит в ноздри дым и этак с усмешечкой: “Поцелуйте перва ручку у меня”. Побелеют весь Аркадь Петрович, вскочут с места, бац его, что есть силы, по щеке, а он только головой мотнет и ещё черней сделается, насупится, как разбойник какой. “Встать, негодяй!” Встанет, вытянется, как борзой, портки плисовые висят... молчит» (III, 150). Бунин «переворачивает» взаимоотношения лакея и барина. У Достоевского — барин (Иван) обучает лакея (Смердякова) сверхчеловеческой, богоборческой философии («Если Бога нет, то все позволено»). У Бунина лакея этому обучать не нужно. Герваська и так

* Там же. С. 113.

знает, что позволено, а что *не* позволено. У Бунина лакей (Герваська) обучает барина (Аркадь-Петровича)... игре на балалайке. Издевка — очевидна. Вся эта «философия» — балалаечное треньканье, не более.

Тем не менее только в полупародийной, издевательской книжке Юрия Мармеладова «Тайный код Достоевского» было обращено внимание на «достоевские» обертоны в бунинском «Суходоле»: «Название “Суходол” — земля, жаждущая дождя, — сопоставимо с названием “Сухой поселок”, который проходит Дмитрий Карамазов... по пути в Мокрое. Более того — убийство слугой Герваськой старика Петра Кириллыча напоминает убийство отца Карамазова Смердяковым» *. Детали указаны верно, но неверно проанализированы — убийство Петра Кириллыча так же «напоминает» убийство Федора Павловича, как название Суходол «напоминает» название — Мокрое. Они — антитетичны. Вновь бунинское возражение Достоевскому: не в *Мокром* — с цыганами, вином, песнями и плясками — разыгрываются настоящие трагедии, а в *Суходоле* — молчаливом, таинственном, *сухом*.

Такая же антитеза — убийство, описанное Буниным. В «Братьях Карамазовых» лакей, незаконнорожденный сын, тщательно готовит убийство своего отца и барина. В «Суходоле» лакей и незаконнорожденный сын убивает своего отца и барина случайно и непреднамеренно. Смердяков вешается, не вынеся тяжести совершенного преступления. Герваська и не думает раскаиваться, тем более вешаться. Убийство для него легко и естественно, как для сильного зверя. «“А!” — досадливо сказал Герваська, блеснув зубами, и наотмашь ударил его в грудь. <...> Увидя кровь, бессмысленно-раскосившиеся глаза и разинутый рот, Герваська сорвал еще с теплой <...> шеи золотой образок и ладанку на заношенном шнуре <...> оглянулся, сорвал и <...> обручальное кольцо с мизинца. <...> Затем неслышно и быстро вышел из гостиной — и как в воду канул» (III, 164). Это, пожалуй, самое важное возражение Бунина Достоевскому. Нет таких убийц, каких выдумывает Достоевский — рефлектирующих, рассуждающих, «психологизирующих». «Герваська <...> торопливо-резко выкинул ей все суходольские новости, в полчаса рассказал то, чего другой не сумел бы и в день рассказать, — вплоть до того, как он насмерть “толкнул” деда, и твердо сказал: “Ну, а теперь прощай до веку!”» (III, 170). «Другой», и в день не сумевший рассказать о своем преступлении, очень напоминает «философа» — Смердякова, на чью исповедь потрачены три главы двухтомного

* Мармеладов Ю. И. Тайный код Достоевского. СПб., 1992. С. 137.

романа Достоевского («Первое свидание со Смердяковым»; «Второй визит к Смердякову»; «Третье, и последнее, свидание со Смердяковым»).

Не менее антитетичны и жертвы преступления у Бунина и Достоевского. Федор Павлович Карамазов — отвратительный развратный болтливый интеллектуал. Петр Кириллович Хрущев — впавший в детство, милый болтливый сумасшедший. Единственная общая черта — болтливость. Но болтливость старшего Карамазова — «от ума», злого, меткого, безжалостного. Болтливость старшего Хрущева — «от безумия» или даже еще резче — «от любовного безумия» («...тронулся Петр Кириллыч от любовной тоски после смерти красавицы-бабушки...» — III, 147). Мир Достоевского — неприемлем для Бунина. Он словно бы утверждает каждым сюжетным ходом, каждым словесным оборотом: «Это — не настоящие дворяне, не настоящие страсти. Все это — выдуманно, вымучено, вычитано, а не увидено». Сравните:

«...Лиза, только что удалился Алеша, тотчас же отвернула щеколду, приотворила капельку дверь, вложила в щель свой палец и, захлопнув дверь, изо всей силы придавила его. Секунд через десять, высвободив руку, она тихо, медленно прошла на свое кресло, села, вся выпрямившись, и стала пристально смотреть на свой почерневший пальчик и на выдавившуюся из-под ногтя кровь. Губы ее дрожали, и она быстро, быстро шептала про себя: “Подлая, подлая, подлая, подлая!”» *.

«“Беда, девка, беда, — забормотал он глухо, странно, как во сне, — барица лошадь убила... пристяжная... Набежала, осунулась и — копытом... Все лицо раздавила. Он уж холодеть стал... Не я, вот те Христос, не я!” Молча сойдя с крыльца, утопая в снегу босыми ногами, Наталья подошла к розвальням, перекрестилась, упала на колени, обхватила ледяную окровавленную голову, стала целовать ее и на всю усадьбу кричать дико-радостным криком, задыхаясь от рыданий и хохота» (III, 184).



* Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 25.